

ГЛАВА 5

ФРАНЦИЯ И ЕВРОПА

Одной из тем, постоянно присутствующих во французском общественном и научном дискурсе, является тема европейской интеграции и тех последствий, которые она может иметь для страны и для национальной идентичности. В обсуждении этого вопроса слышны голоса как «евроскептиков», так и «еврооптимистов».

Одни опасаются единой Европы, чьи институты все больше проявляют тенденцию контролировать и направлять внутреннюю жизнь государств – членов Союза: в этом видится и посягательство на столь дорогую независимость, и ослабление государственного суверенитета, и угроза культурной идентичности, и нежелание расставаться с социальными завоеваниями. Они спрашивают себя: какое место отведено Франции в Евросоюзе? Насколько велико ее влияние? Может ли еще она заставить себя слушать (и услышать)? Они ратуют за «экономический патриотизм», настаивают на необходимости сохранения «французской исключительности» (*exception française*), отказа от соблюдения требований Евросоюза, протекционизма в отношении отечественных производителей. В ход идут различные аргументы: экологические (когда нужно защитить сельхозпроизводителей или рыбаков), культурные (для защиты французского языка и культуры от агрессивного насаждения продукции Голливуда и прочих американских образцов масс-культуры), морально-этические (требования сохранения социальных завоеваний в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения, социальных пособий и продолжительности рабочего времени), а также апелляции к истории и традиции, когда речь идет о защите государственного сектора и государственной службы. «Глобализация их отталкивает, иммиграция их тревожит, Европа их раздражает» (*Marchand, 2004*).

Другие считают, что альтернативы дальнейшей интеграции нет, что «экономический патриотизм» лишь подорвет конкурентоспособность французской экономики, следствием чего станут ее ускоренная децентрализация и, в ответ, рост популистских настроений. «Протек-

ционизм предвещает войну, подобно тому, как тучи предвещают грозу», – напоминают они слова Ж. Жореса.

Отдельный и, в контексте нашей темы, очень важный вопрос, по которому тоже нет единого мнения: угрожает ли европейская интеграция национальной идентичности. Для того чтобы ответить на него, нужно, во-первых, выяснить, сопровождается ли строительство объединенной Европы формированием особой общеевропейской идентичности; во-вторых, понять, что это за идентичность; в-третьих, узнать, какая часть французов уже сегодня идентифицирует себя в первую очередь с Европой, и лишь затем – с нацией.

Проблема европейской идентичности

Дискурс о европейской идентичности удивительным образом воспроизводит классические рассуждения о конструировании нации, как будто бы для обоснования политического и экономического союза (каким, по замыслу, и является Европа) необходимо доказать наличие предшествующей этому союзу общей культуры. «Убежденность в том, что безусловным оправданием права на суверенитет является культурная идентичность, глубоко укоренилась в либеральной идеологии, – справедливо замечает П. Ори (*Ory*, 2003:257-258). Таким образом, происходит смысловая подмена: вместо того чтобы обсуждать вопрос о том, существует ли европейская идентичность, речь идет о существовании европейской культуры и европейской нации.

Вопрос о том, может ли и должна ли объединенная Европа превратиться в *нацию*, низведя нынешние европейские нации до уровня *регионов*, а то и вовсе устранив это «промежуточное звено», повысив статус существующих в рамках отдельных наций регионов до самостоятельных административно-политических единиц, напрямую подчиненных Европарламенту и гипотетическому президенту единой Европы, по сути, абсолютно уместен в контексте вопроса о судьбе национальных идентичностей государств-членов. Принимая во внимание, что не любые, а только политические идентичности являются потенциально конфликтными и взаимоисключающими, европейская идентичность может представлять угрозу для французской идентичности только в том случае, если обе они будут претендовать на статус политической идентичности.

Проблема возникает в тот момент, когда в рассуждениях о «европейской нации» последняя приобретает не политический, а культурный смысл, как это можно видеть на следующем примере; «Ослабление национальных государств и, как следствие, чувства национальной идентичности не компенсируется формированием *идентичности* европейской. Процесс европейской интеграции преследует цель не формирования единой *нации*,—для которого необходимы такие составляющие, как коллективная память, общие социальные проекты,— а построение единого государства. Созданию единой европейской *культуры* есть достойная альтернатива в виде нескольких десятков национальных культур, одновременно далеких и близких, богатство и многообразии которых не исключает их тесного взаимодействия» (*Touraine, 2005:65-71. Курсив мой – Е.Ф.*). Благодаря смысловой цепочке «идентичность – нация – культура» государство отделяется от нации и даже противопоставляется ей, последняя же приравнивается к культуре. По меньшей мере странным выглядит и упоминание в данном фрагменте о коллективной памяти: вряд ли А. Турен считает, что у населения Европы нет коллективной памяти (употребляю это выражение вслед за автором, не забывая о том, что оно есть не более чем метафора); скорее имеется в виду, что она в данном случае – плохое подспорье для формирования единства, и более продуктивным может быть коллективное забвение.

В том же ключе рассуждают многие. «В Европе у каждого народа есть свое лицо, своя специфика, свой характер. Европу нужно строить, но не нужно делать вид, что она уже построена: не существует европейского народа, европейской нации. Вести дело так, как будто старые нации уже исчезли, означало бы игнорировать реальность» (*Séville, 2004:242*). «Европа – понятие географическое, а не только политическое. Она должна иметь границы. Мы слишком торопимся, подменяя европейской интеграцией отсутствующую идеологию. Но есть народы, и они не поддаются разрушению. Нужно очистить интеграционный проект от догмы европеизма» (*Védrine, 2005*). «Европейская нация» не существует и существовать не может. Европа – это, прежде всего, цивилизация. Она включает тридцать наций, которые нужно объединить, но не ликвидировать. Для этого нам не нужно строить новую «тюрьму народов»: достаточно прислушиваться к их чаяниям и воплощать их устремления в реальных действиях» (*Chevènement, 2005*). «Нет европейского народа, но есть народы Европы, уходящие корнями в свою национальную историю, политическую и культурную, говорящие на своих языках, привязанные к то-

му, что принято называть нацией, – местом, где вершится демократия, где формируется идентичность, где выражается суверенитет. А Европа под прикрытием разговоров о виртуальном «европейском народе» разрушает все это, не умея предложить взамен ничего кроме рынка, бюрократии и прочих химер, которые ослабляют нации, не прибавляя могущества их Союзу» (*Gallo, 2005*).

Приведенные мнения были высказаны в ходе общественной дискуссии, организованной газетой «Фигаро» накануне общенационального референдума по европейской Конституции, состоявшегося в мае 2005 года. Прозвучали в ней и голоса тех, кто считает европейскую идентичность реальностью. Аргументы в пользу этой точки зрения таковы. Культурная однородность и сходство национальных экономик делает Европу уникальным регионом, не имеющим аналогов в мире, раздираемом глубокими культурными различиями и экономическим неравенством. Это своеобразие сформировалось в результате многовековой истории, в рамках четко обозначенного пространства, на определенном культурном фундаменте. Важной составляющей европейской идентичности стала ее демократическая политическая традиция (*Canto-Sperber, 2005*). Европа – не безликая абстракция, она обладает определенными характеристиками: это греческое и римское наследие (в частности и прежде всего – римское право и лежащая в его основе частная собственность), это христианство, это давние традиции индивидуализма и нынешний уровень модернизации (*de Вильпен, 2006*). Все это создает особый мир; внутри него, однако, царит разнообразие, которое необходимо сохранить. И это своеобразие несводимо к модному сегодня фольклорному измерению, но предполагает сохранение плюрализма законов и плюрализма мнений внутри Союза, терпимое отношение к различиям и утверждение универсализма, основанного на рациональном законе (*Delsol, 2005; Planel, 2006*). Европейская цивилизация формировалась, становилась богаче и многообразнее в ходе великой истории: античная Греция, Римская империя, принятие христианства, эпоха Возрождения, век Просвещения – таковы ее основные вехи (*Bénéton, 2005*).

На все эти аргументы можно возразить, однако, что границы античных цивилизаций отнюдь не совпадают с нынешними границами Европы, наглядным подтверждением чему могут служить развалины архитектурных сооружений греко-римской эпохи, сохранившиеся на территории нынешних Турции, Туниса, Иордании и других государств; и что Палестина и Константинополь – нынешний Стамбул – имеют не последнее отношение к христианству; и что в культуре ис-

панской Андалузии явно прослеживаются черты арабского наследия, а заметная часть населения сегодняшней Европы исповедует ислам; и что есть гораздо больше оснований говорить о средиземноморском культурном комплексе, чем о культурной близости скандинавских стран с Испанией, Италией или Португалией. Но самое существенное возражение состоит в том, что и те, кто признает, и те, кто отрицает наличие европейской идентичности, по сути, ведут речь о культуре, а в европейцах хотят видеть даже не нацию, а народ в понимании, близком к немецкому Volk.

Таким образом, налицо стремление части интеллектуалов пред- ставить формирование единой Европы по образу и подобию национальных государств предшествующей эпохи (перефразируя знаменитую формулу Массимо д'Азельо: «Мы создали Европу, теперь осталось создать европейцев»). Д. де Вильпен, желая доказать, что осознание общеевропейского единства давным-давно является совершившимся фактом, цитирует Ф. Бэкона, впервые употребившего выражение «мы, европейцы» еще в 1623 году (*de Вильпен, 2006*). Правомерно, однако, задаться вопросом о том, кого философ в данном случае включал в понятие «мы». «Европеец» в данном контексте означает скорее образованное сословие, разделяющее общие культурные ориентиры, нежели совокупность населения, живущего в границах Европы. Кстати, вопрос о границах является одним из наиболее существенных препятствий к формированию европейской идентичности. Границы имеются в виду, прежде всего, вполне конкретные, географические: где кончается европейская *территория*, как *далеко* и в каком направлении она может распространиться в более или менее отдаленной перспективе, есть ли естественный предел для расширения? Во-вторых, речь идет о границах политического суверенитета: как *глубоко* может зайти интеграция, какие еще полномочия и прерогативы будут переданы с национального на супранациональный уровень, и какие последствия это будет иметь как для Европы в целом, так и для государств-членов. Наконец, не менее важны границы символические, содержательно-смысловые: как определить европейское *пространство*, найти ему место между локально-специфическим и всемирно-универсальным, как обозначить, что сближает европейцев между собой, но также и что отличает их от не-европейцев? Иными словами, как определить того самого Другого, необходимого для формирования европейской идентичности?

В отсутствие внятного ответа на все эти вопросы Европа по-прежнему ассоциируется в сознании французов скорее с «большой ярмаркой», нежели с «большим политическим проектом». Последний, как справедливо отмечает П. Ори, остается еще невнятным, и если и может в перспективе стать условием формирования европейской идентичности, то никак не является ее продуктом (Ory, 2003: 262). А. Турен констатирует, что в то время как Европа экономическая набирает силу, Европа политическая не без труда преодолевает трудности, связанные с расширением ее границ, формирование Европы культурной наталкивается на серьезные препятствия (Touraine, 2005 (1)), а Д. де Вильпен призывает: «Начнем с экономики в надежде на то, что круг будет расширяться – от социальных и культурных целей до политических» (de Вильпен, 2006).

К. Дюбар также констатирует, что Европейский Союз остается чисто политической конструкцией и не породил пока никакой «европейской идентичности», понимаемой как «разделяемый большинством населения входящих в него стран общий проект» (а не как наличие общей культуры – Е.Ф.). Основным ресурсом и ориентиром для него остаются традиционные «национальные идентичности», которые даже упрочиваются перед лицом перспективы огромного регулируемого общего рынка (Dubar, 2003:28).

А. Турен, в свою очередь, призывает «отбросить распространенное представление о том, что мы лишь поднимаемся на ступеньку выше: традиционные очертания государства не будут воспроизведены на европейском уровне. Европейский Союз не заменит национальные государства в общественной жизни граждан этих стран и не компенсирует влияние глобализации» (Touraine, 2005:70-71). Действительно, есть веские основания полагать, что глобализация не только подорвала суверенитет существующих государств, но и поставила под сомнение саму модель государства; что власть все больше будет сосредотачиваться не в руках национальных политических элит, а в руках элит экономических и финансовых, космополитичных по своей природе. Создание транснациональных корпораций, слияние банков, делегализация производств, международная миграция, развитие информационных и иных сетей – все это делает границы все более условными и проницаемыми, а государственные институты – все менее могущественными и эффективными.

Может быть, именно осознание этой ситуации и создает соблазн переосмысления французской модели государства-нации? Если государство не соответствует новым условиям и обречено, в более или

менее отдаленной перспективе, на уход с политической сцены, то не лучше ли разорвать опасную связь и попытаться спасти хотя бы нацию? Но для этого нужно представить ее как самостоятельную, не зависящую от государства сущность. И наиболее наглядно эта сущность может воплотиться именно в культуре.

В апреле 2004 года был проведен общенациональный опрос общественного мнения, в ходе которого был задан, в числе прочих, следующий вопрос: «Иногда можно услышать, что у европейских стран есть общая культура, которую нужно защищать. Согласны ли вы лично с таким мнением»? Ответы распределились следующим образом: «Совершенно согласен» – 20%, «Скорее согласен» – 51%, «Скорее не согласен» – 16%, «Не согласен» – 5%¹. В ходе интервью я тоже спрашивала своих собеседников о европейской культуре, и их мнения также разделились. Если одни считают, что

«...быть европейцем – значит принадлежать к сообществу, разделяющему общие базовые ценности, имеющему примерно одинаковый фундамент», что «Италия, Германия, – все те страны, на которых держится Европа, имеют похожую идентичность» (Лоран),

то другие, как Реми или Режиc, если и признают наличие общего культурного субстрата, то только у так называемых «латинских» стран – Франции, Италии, Испании, Португалии, а третьи и вовсе убеждены в том, что общеевропейская культура, в лучшем случае, находится в стадии становления:

«Нетрудно заметить, что в каждой из стран-членов сохраняется собственное представление о нации, родине, каждая ревниво оберегает свою собственную культуру... Пока еще понятие общеевропейской культуры сформировать не удалось. Рано или поздно это произойдет, нужно время» (Камилла).

Наконец, есть и те, кто понимает европейскую идентичность не как культурную, а как политическую: например, Анри, житель Клермон-Феррана, уверен, что будущее Франции связано с единой Европой, к которой страна

¹ Опросы проводились 27-29 ноября 2001 г. и 28-30 апреля 2004 г. по общенациональной квотной репрезентативной выборке в 1000 человек среди лиц старше 18 лет методом интервью. Результаты на интернет-сайте Politique&Opinion@tns-sofres.com

«...последовательно идет вот уже 50 лет, с момента Римского договора. Но для того, чтобы люди действительно осознали себя европейцами, должны смениться поколения, и патриотические чувства должны уступить место чувству принадлежности к Европе. Я думаю, именно поэтому сегодня с детьми меньше говорят о родине, это делается сознательно. Возьмите сегодняшних студентов, молодежь 22-25 лет: им в школе уже не говорили о патриотизме».

О несовместимости «европейского проекта» с духом исключаящего патриотизма и о насущной необходимости утверждения, наперекор и вопреки этому духу, идеи «космополитичной Европы, единой в своем многообразии», воплощения современного гуманизма и наследницы идеалов Просвещения (Planel, 2006), говорят и пишут политики и интеллектуалы разных направлений.

Таким образом, налицо два различных подхода к «европейской идентичности»: либо она конструируется как культурная и апеллирует к прошлому и к памяти, либо – как политическая, обращенная в будущее и основанная на забвении. Первый подход чреват конфликтами и соперничеством. Во-первых, трудно представить себе такую историю Европы, которая одинаково устроила бы, с одной стороны, все входящие в союз государства, не раз оказывавшиеся по разные стороны линии фронта, а с другой – ту часть сегодняшнего европейского населения, которая не наследует традиции «античной Греции, Римской империи, эпохи Возрождения, века Просвещения». Во-вторых, гипотетическое конституирование общеевропейской культуры остро ставит проблему взаимодействия между культурами национальными, которое, как отмечает М. Абелес, происходит в принципиально новом контексте. Речь не может идти ни о субординации культур, ни об аккультурации населения путем усвоения нормативной господствующей культуры. «Ни одна из европейских культур не может претендовать на навязывание остальным своей гегемонии» (Abélès, 2005:81). Неминуемо встает также вопрос о том, что станет с национальными языками (для Франции, как уже говорилось, это весьма чувствительная проблема, усугубляющаяся по мере расширения союза). Попытки создать «европейский народ», скорее всего, не увенчаются скорым успехом, а потому проект «культурной» Европы не несет в себе, как мне кажется, угрозы для национальных идентичностей входящих в нее государств, и особенно – для французской

идентичности. В этом уверены и большинство опрошенных. Вот несколько характерных мнений:

«Будучи частью Европы, мы сохраним нашу идентичность, останемся французами, так же как сегодня во Франции по-прежнему существуют бретонцы или корсиканцы. Если даже Европе и суждено в исторически обозримом будущем стать подобием Соединенных Штатов, то это, как минимум, потребует больших усилий. Нужно иметь общий язык, общие законы, общие политические структуры... Это придет мало по малу, но предстоит еще много работы!» (Жан-Марк).

«Если бы Европа ограничилась шестью, девятью странами, возможно, такая опасность была бы. Но теперь, когда нас стало 27, мы не можем иметь единую идентичность, это невозможно. Во всяком случае, сохраняются межгосударственные границы, национальные особенности. На мой взгляд, национальной идентичности ничего не угрожает, она никуда не денется» (Анри).

«Оттого, что мы станем считать себя европейцами, мы не потеряем нашу культуру, наоборот.... Каждая культура должна своими лучшими сторонами способствовать обогащению других, это позволит нам расширить свой кругозор. Я не думаю, что мы должны в результате что-то потерять» (Бенуа).

Напротив, Европа политическая могла бы составить национальной идентичности реальную конкуренцию, но лишь в том случае, если бы она сама стала реальностью. Между тем, по мнению аналитиков, не только «европейская нация», но и «европейское» (пусть даже федеральное) государство не являются ни реальной, ни желаемой перспективой (см., например, *Ferry, 2005*). Речь не идет о воспроизведении той же логики, которой подчинено конструирование национальных государств (вертикальной политической интеграции), на следующем, более высоком супранациональном уровне. Политическая Европа, как и культурная, может основываться лишь на интеграции горизонтальной

Чувствовать себя европейцем

И все же, можно ли ожидать, что в более или менее отдаленном будущем на смену национальному самосознанию придет осознание себя европейцами, что не будет больше французов, итальянцев, голландцев, датчан, а будут лишь граждане единой Европы?

Уже сегодня население Евросоюза получило одинаковые паспорта (правда, с указанием страны гражданской принадлежности), однако означает ли это формирование нового гражданского единства не на уровне коллективно принимаемых политических решений, а на уровне осознания гражданами новых обязанностей, диктуемых общим благом Европы? Ю. Хабермас, разделяя скептицизм Р. Арона, отвечает на этот вопрос отрицательно, обосновывая свою позицию констатацией того факта, что «политические права гражданина до сих пор не распространяют свою действенность за пределы национальных государств» (Хабермас, 1995).

Как было показано выше, гражданские права и обязанности являются одним из базовых компонентов национальной идентичности французов. Поэтому, как и следовало ожидать, чувство принадлежности к Европе пока не составляет заметной конкуренции французской национальной идентичности: только примерно каждый десятый опрошенный в ходе исследования «История жизни» заявил, что чувствует себя, прежде всего, европейцем. Много это или мало – каждый десятый? Если сравнивать с другими территориальными уровнями, можно заключить, что немного: опрошенные идентифицируют себя прежде всего именно с Европой в шесть раз реже преимущественной идентификации на национальном уровне и в три раза – на локальном. Но не так уж и мало, если вспомнить, что менее 30 лет назад Ж. Переку казалось, что единственной ситуацией, в которой было бы уместно заявить: «Я – европеец», могла быть «встреча с американцем в консульстве Японии в Канберре», и информация такого рода казалась ему почти столь же абстрактной, как форма представления «Я – землянин»².

Чувство принадлежности к Европе несколько сильнее выражено у жителей регионов Пикардия и Иль-де-Франс (12% против 9% среди всех опрошенных), а также в некоторых приграничных регионах на востоке и юго-востоке страны: Эльзас, Рона-Альпы, Прованс-Альпы-

² PEREC, G. *Penser/Classer*. Paris: Seuil, 2003.

Лазурный берег (11%). Менее всего назвавших себя «европейцами» оказалось на Атлантическом побережье – в Бретани, Пуату-Шаранте и Южных Пиренеях (5-6%). Такое пространственное распределение дает основания предположить, что ощущение себя европейцами у современных французов чаще является отражением особой формы *территориальности*, нежели политической или даже культурной идентичности. Прозрачность внутренних границ Евросоюза, единая валюта, общий рынок труда, программы университетского обмена – все это способствовало расширению горизонта жизненного пространства. Последствия этого прежде других ощутили жители приграничных территорий – такие, например, как те мои эльзасские собеседники, для которых ежедневные поездки на работу «за границу» давно вошли в привычку, соседние Швейцария или Германия *«превратились в ближний пригород»*, а центром культурной жизни и развлечений стал Базель (*«самый интересный город на много километров вокруг»*), а не Страсбург.

Гипотезу о том, что новые, трансграничные формы территориальности не влекут за собой смену политической идентичности, и что попытки стирания политических межгосударственных границ лишь укрепляют границы воображаемые, подтверждают и данные других исследований. Так, население приграничной зоны между Францией, Германией и Люксембургом охотно пользуется возможностями, которые представляет единое европейское пространство (поиски наиболее привлекательных условий труда, заработка, оптимизация налогообложения и выбор комфортного места жительства), однако такое поведение не сопровождается сменой идентичности. Не только французы, работающие в Люксембурге, идентифицируют себя с местом жительства, а не с местом работы (что вполне естественно), но и немцы или люксембуржцы, купившие недвижимость и постоянно проживающие во Франции, продолжают считать себя немцами и люксембуржцами. Более того, открытость границ и проживание бок о бок разного по культуре населения не ведет к формированию по-настоящему смешанной культуры: франко-немецкое двуязычие не только не растет, но и сокращается, немецкий язык в школах Лотарингии сегодня изучают только 30% учащихся, тогда как еще 15 лет назад таких было более 40%. Ответы на открытый вопрос, задававшийся в ходе исследования, подтверждают, что национальное государство по-прежнему остается наиболее мощным ориентиром для идентификации населения, Европа же занимает второе место (Auburtin, 2008).

В отличие от сухопутной восточной границы Франции, утратившей все атрибуты контроля над перемещением населения – КПП, посты, таможни – и, по сути, низведенной до ранга административной границы, западная – морская – сохранила характер естественной преграды и даже усилила свое политическое значение, превратившись в границу объединенной Европы. Поэтому новый пограничный режим не внес заметных изменений в практику использования пространства населением западной части Франции, что, на мой взгляд, объясняет минимальную здесь долю «европейцев».

В ходе интервью я пыталась выяснить, как соотносится осознание принадлежности к Европе с другими уровнями территориальной идентичности – национальным, региональным, локальным; какие факторы способствуют осознанию себя европейцем, что означает для опрошенных «чувствовать себя европейцем», а также какие надежды и опасения вызывает у них европейская интеграция.

Эрве, 39 лет, житель приграничной зоны в Эльзасе, так описывает соотношение разных уровней своей территориальной принадлежности:

«История Франции сделала меня французом, история Эльзаса – эльзасцем. Кем я ощущаю себя в большей мере? Трудно ответить. Я бы сказал, пожалуй, что я европеец, это нечто более общее... Эльзас – это, как бы то ни было, Европа. И исторически тоже.... Да, думаю, европеец. Я родом из этих мест, я говорю на диалекте (эльзасском – Е.Ф.), я говорю по-немецки, для меня Швейцария и Германия – это скорее ближний пригород, чем заграница. Я – старый европеец поневоле».

Таким образом, среди факторов, способствующих формированию идентификации себя как европейца, можно выделить реальное освоение транснационального приграничного пространства (городок, где живет Эрве, находится на самой границе, которую он регулярно пересекает); владение немецким языком, облегчающее контакты с населением соседних Германии и Швейцарии, и соединение национальной и региональной принадлежности – ведь и Эльзас, и Франция – это Европа.

Камилла, 55 лет, уроженка Парижа, жительница маленького городка в Оверни, чувствует себя в первую очередь француженкой, и уже затем – европейкой:

«Люди моего поколения вряд ли, а вот следующее поколение будет, возможно, сильнее ощущать свою принад-

лежность к Европе, чем к своей стране. Но уже сейчас мы все больше и больше чувствуем себя европейцами».

Жан-Марк из департамента Морбиан в Бретани говорит, что чувствует себя европейцем лишь «наполовину», зато французом – целиком и полностью. Он, как и Камилла, с оптимизмом смотрит в будущее единой Европы, реальность которой, по его мнению, – лишь дело времени. Но для этого необходимы общие усилия, движение в одном направлении, а это происходит не всегда.

Европейский уровень территориальной принадлежности охотнее выбирают иммигранты и их потомки, нежели те, чьи родители – французы (соответственно 18% и 8%). Тем, кто имеет разнообразные «корни» (совсем не обязательно – «европейские») это позволяет примирить разные составляющие своей идентичности и избавляет от необходимости делать выбор между ними. Такая «примиряющая» форма идентификации с Европой очень ярко описана З. Бауманом на собственном примере. Ученый рассказывает о непростом выборе, перед которым он оказался в связи с решением Карлова университета в Праге присвоить ему почетное звание доктора *honoris causa*. По традиции в начале церемонии посвящения в честь виновника торжества исполняется национальный гимн его страны. И организаторы обратились к З. Бауману с вопросом, какой гимн он хотел бы услышать: Польши – страны, гражданином которой он был при рождении, или Великобритании, гражданином которой он является сейчас. Вот как он описывает свое замешательство: «Великобритания – моя приемная страна. Это она предложила мне профессорский пост, когда мне пришлось покинуть Польшу, страну, где я родился, и где меня лишили права преподавания. Я приехал в Англию как беженец и долго оставался на положении иностранца, прежде чем стать гражданином. Но не остается ли иностранец навеки иностранцем? Я никогда не пытался выдать себя за англичанина, к тому же и мои коллеги, и мои студенты всегда знали, что я «не отсюда», что я из Польши. (...) Тогда, может быть, выбрать польский гимн? Но это поставило бы меня в ложную ситуацию: тридцать лет назад меня лишили польского гражданства. Мое исключение было официальным, мотивированным и подтвержденным авторитетом власти, а значит, я утратил право на польский гимн». В конце концов, по совету жены, З. Бауман решил выбрать гимн единой Европы. Это выбор, объясняет он, был одновременно «включающим» и «исключающим», позволяющим примирить между собой обе идентичности, нейтрализовать разницу

между ними и избежать необходимости идентифицировать себя в терминах национальной принадлежности, коль скоро такая идентификация утратила для него свою актуальность (Bauman, 2010:17-19).

Но вернемся к нашим полевым материалам. Как явствует из интервью, «Я чувствую себя европейцем» может на самом деле означать нежелание говорить о своем «происхождении». Так, например, Бенуа, 32 года, пожарный в Провансе, утверждает, что у него, по-настоящему, нет «корней».

«Я человек скорее достаточно открытый. Во всяком случае, я совсем не националист. Принадлежность к Европе, на мой взгляд,— это уже немало. Да, я думаю, что в культурном отношении я француз. Когда живешь в стране, приобретаешь определенные привычки, рефлексy. Но на этом основании говорить, что я чувствую себя французом? Нет, я, скорее, все же европеец». Он объясняет такое свое ощущение как собственным жизненным опытом, так и семейным наследием: «Я жил в Париже, я жил в Савойе. Мой отец родом из Перпиньяна, а его родители – каталонцы из Барселоны. У моей матери португальские корни, она родилась в Устье Роны, но семья ее из Приморских Альп. Моя спутница жизни – англичанка. Вот такая пестрая смесь. Я не люблю разговоров о корнях, это сужает перспективу. Я смотрю на вещи иначе».

А вот Франсуа, француз испанского происхождения, европейцем себя не чувствует:

«Это что-то такое абстрактное. Даже в Америке, например, я никогда не скажу, что я – европеец: либо скажу, что француз, либо что испанец. Так что я не думаю, что национальные государства исчезнут, по крайней мере, в обозримом будущем: все равно, как хотите, итальянцы – это итальянцы, испанцы – это испанцы, а не какие-то средние "европейцы"».

Мнения о том, какие преимущества дает сегодняшним французам существование единой Европы, достаточно единодушны. Первое и основное – это мир. Франция, в истории которой никогда не было такого длительного периода мира, как тот, что наступил с созданием объединенной Европы, наконец-то разорвала привычный ход собы-

тий, при котором у каждого поколения была своя война. Европейское объединение воспринимается как гарантия сохранения этого мира, оно дает чувство защищенности перед лицом внешней угрозы. Оно также отчасти компенсирует ощущение утраты величия Франции перед лицом военного и политического превосходства США. Идея о том, что «вместе мы сильнее», достаточно прочно утвердилась в сознании французов. Однозначно положительно воспринимается и возможность свободно перемещаться внутри европейского пространства, к тому же не меняя валюту в кошельке. Несколько менее уверенно оцениваются преимущества в экономическом плане, особенно после введения евро как единой валюты и особенно – расширения Европы до 27 членов с неравномерно развитыми экономиками. Французы, как и немцы, уверены, что больше отдают, чем получают. И, наконец, явное недовольство вызывают движение в сторону либерализации экономики и невнимание к социальным вопросам, а также... излишняя централизация («все за нас решают в Брюсселе») и унификация. Похоже, французам более чем достаточно своего домашнего централизма (когда «все решается в Париже»).

Бернар, рабочий из Бретани, сформулировал все это, пожалуй, наиболее сжато и емко:

«В каком-то смысле Европа – это хорошо. Это позволяет нам жить спокойно, без войн. Думаю, создатели Европы именно об этом заботились, за что им большое спасибо. Хорошо, что появилась возможность свободно перемещаться внутри Европы, жить, учиться и работать в любой стране – это замечательно, когда нет ограничений. Но все же, я думаю, в какой-то момент мы все равно возвращаемся к своим истокам. Лет двадцать назад был популярен лозунг «Жить и работать в своем краю». Возможно, он не потерял актуальности и сегодня.

Кое в чем Европу можно и упрекнуть. В частности, в недостаточном внимании к социальным вопросам. Может быть, в этом смысле было бы проще, если бы стран было 15, а не 25. Мне кажется, что мы движемся скорее вниз, чем вверх, а это опасно, в конечном счете. Надо бы сделать Европу более человеческой».

Анна-Мария (владелица магазина, Юг-Пиренеи) рассуждает более приземлено, она настроена скептически и не питает особых иллюзий по поводу Европы:

«Если это все так и останется только на уровне экономики, ничего серьезного не произойдет. Я уже не говорю о том, сколько неприятностей нам это доставляет. В частности, эти попытки все регламентировать, все унифицировать. Только представьте, они пытались ввести единую форму винной бутылки во всем Евросоюзе, чтобы был стандарт. И как это возможно во Франции, с ее разнообразием вин, каждое из которых разливается веками в определенную тару? Они хотели, чтобы для Бордо и для Шампанского были одинаковые бутылки. Или возьмем рестораны. Нам пытаются навязать новые правила, исходя из соображений стерильности: нельзя хранить полуфабрикаты, повара должны быть чуть ли не в хирургических масках и перчатках... Наша кухня к этому не приспособлена, у нас есть блюда, которые начинают готовиться накануне, иногда процесс занимает несколько дней. Дошло уже до того, что нам запретили делать омлет из настоящих яиц – нужно обязательно использовать яичный порошок.

А сколько всякой бюрократии развелось! Полно разных структур, не очень понятно, кто за что отвечает – и ведь везде чиновники, и технический персонал, и всю эту армию надо кормить. А что от них толку? Только плодят всякие бумажки, инструкции, правила. Знаете, эти толстенные пачки бумаг, они все растут и растут. Это как слоеный пирог: добавляются все новые и новые слои, и после очередного ты просто уже не в состоянии его проглотить, не подавившись.

Ряд исследований, проведенных в последние годы социологами, показывает, что противоречие двух форм самоидентификации – чувства принадлежности к нации и осознания себя европейцами – возрастает каждый раз в связи с общественными дебатами вокруг Европы: будь то накануне выборов в Европарламент или референдумов, – и теряет свою остроту по мере снижения их интенсивности (см. *Duchesne et Frogner, 2002*), что позволяет говорить о двухуровневой территориальной идентификации, имеющей, кроме того, двойственную природу: социальную и политическую. Социальное измерение территориальной идентификации означает готовность индивида субъективно осознавать свою принадлежность к группе, к которой он

принадлежит объективно (*Elias, 1991*); таким образом, с точки зрения социальной выраженное чувство принадлежности к нации как к социальной общности не только не ослабляет, но даже усиливает чувство принадлежности к Европе. Напротив, политическая составляющая идентичности является потенциально противоречивой, поскольку предполагает необходимость выбора между двумя политическими общностями в случае конфликта или конкуренции между ними. В данном случае между двумя уровнями территориальной идентификации возникают отношения не дополняемости, а исключительности.

Проведенный институтом «Медиаскоп» замер реакции телезрителей на обращение к нации президента Ж. Ширака в эфире общенационального телеканала TF1 накануне конституционного референдума показал, что с наибольшим воодушевлением были встречены те фрагменты выступления главы государства, где речь шла о необходимости защиты «национального суверенитета» и о «национальной гордости» французов. «Парадоксальный эффект для передачи, целью которой была агитация за европейскую Конституцию», – язвительно заметила по этому поводу «Фигаро».

Итоги референдума, хотя и были предсказуемы, обескуражили и опечалили многих как в самой Франции, так и за ее пределами. Число противников принятия Конституции (55% принявших участие в голосовании) оказалось хоть и не намного, но больше числа его сторонников. Некоторые аналитики, журналисты, преимущественно леволиберального направления, поспешили объяснить такой результат проявлением национализма французов. «В глобализующемся обществе французский национализм превратился в провинциализм, сохранивший все признаки вчерашнего национализма: самолюбование (интеграция идет у нас лучше, чем в других странах), страх перед внешней угрозой (примитивная американская культура наводняет страну почти помимо нашей воли) и внутренним заговором (только реакционные умы подвергают сомнению эффективность нашей национальной модели)...» (*Duteurtre, 2004*). Основанием для таких обвинений стали, в частности, выступления против дальнейшего расширения Евросоюза, и особенно против приема Турции в члены европейского «концерта наций» (в тексте документа отсутствует определение границ формирующейся общности). Безусловно, какая-то часть сказавших «нет» руководствовалась и националистическими соображениями. Однако из бесед с респондентами в Эльзасе, Бретани, Марселе (работа в поле пришлась как раз на месяц, предшествующий голосованию), из разговоров с коллегами и друзьями в Па-

риже, из дискуссий на интернет-форумах у меня сложилось впечатление, что основными причинами отказа поддержать Конституцию стали, во-первых, опасение утраты социальных завоеваний и утверждения экономического либерализма; во-вторых, недовольство тем, что «Европа строится без нас», т. е. без учета мнения граждан (А. Турен прав, когда говорит о том, что создание единой Европы воспринимается ее населением как инициатива политического руководства и высших чиновников, чья деятельность не подкреплена демократической легитимностью и не контролируется общественным мнением, которым интересуются только социологические службы—*Touraine, 2005. 60-61*); и, в-третьих, раздражение, вызванное агрессивной агитационной кампанией, в ходе которой сторонникам Конституции было предоставлено гораздо больше эфирного времени, газетных и журнальных страниц, чем ее противникам, а вместо ясных и убедительных аргументов и обсуждения конкретных положений текста раздавались абстрактные призывы и заклинания. В отсутствие внятной идеологии и ясно сформулированных правил и принципов присоединения к Евросоюзу Европа становится не идеей, а целью, к которой надо идти. Вот только политики не хотят или не могут объяснить, зачем к ней идти.

Ж. Бодрийяр не зря характеризовал дискурс по поводу Европы как особую форму «интеграции на словах, а не на деле». Чем больше и увереннее говорят о Европе, чем больше производится на свет всевозможных документов, тем очевиднее реальные события имеют противоположный вектор. В ответ на попытки унификации ускоренными темпами нарастают партикуляризмы и провинциализмы, расколы и распри. Во французском «нет» европейской конституции и в беспорядках во французских предместьях осенью 2005 года философ усмотрел звенья одной цепи, проявления одной болезни, которую он диагностировал как глубокую дезинтеграцию всего французского общества, разрыв связей, нарастающее взаимонепонимание, утрату объединяющей идеи. С этим анализом согласен П. Розанваллон, объясняющий и провал конституционного референдума, и «кризис предместий» отсутствием горизонтов развития и позитивного взгляда в будущее. Таким образом, современное французское общество в очередной раз рассматривается через призму постмодернистского отрицания идеи прогресса, утраты идентификационных ориентиров и «истончения» социальной ткани.

Следует ли согласиться со столь пессимистичной оценкой? Мне все же представляется, что действительность не столь мрачна и бе-

зыходна. Да, действительно, в расслабляющей обстановке мира и благополучия принцип «каждый за себя», то, что французы называют «номбрилизмом» – крайний эгоизм, поглощенность только своими собственными проблемами – находит благоприятный климат на почве французского индивидуализма. Но, как показывают мои наблюдения за французами и беседы с ними, они по-прежнему не утратили ни интереса к общественно значимым событиям (о чем свидетельствуют сменяющие одна другую бурные общественные дискуссии), ни чувства солидарности и способности к мобилизации в те моменты, когда это действительно необходимо.

Итак, можно с уверенностью сказать, что в обозримой перспективе европейская идентичность не станет для французов основной. Как мы видели, осознание себя европейцами базируется, прежде всего, на реальных практиках повседневной жизни, на использовании тех преимуществ, которые дает принадлежность к общеевропейскому пространству. Это остается уделом достаточно узкой прослойки населения, живущей вдоль восточной границы, да еще, может быть, тех примерно двух миллионов французов, которые живут и работают за рубежом (не случайно 80% среди них проголосовали на референдуме за европейскую конституцию – см. *Planel, 2006*). У значительной части населения, напротив, Европа ассоциируется с ростом цен и снижением покупательной способности, с либерализацией экономики и угрозой социальным завоеваниям французов, с диктатом Брюсселя и вмешательством со стороны во внутренние дела страны. Недоверие к европейским институтам усугубляется отсутствием реальной возможности влиять на ход событий, ощущением, что мнение населения никого не интересует. Наконец, тот неоспоримый факт, что Франция, как и Германия, является государством-донором, не способствует, особенно в ситуации экономического кризиса, укреплению общеевропейской солидарности.